



Мама

(из сборника «Добрые рассказы»)

Наташа стала взрослой в один майский день. Сразу. И если вы думаете, что у других это происходит иначе, зря. Все взрослеют мгновенно, просто могут не помнить, из-за чего это случилось.

У Наташи родилась сестра. И это здорово, если бы мама была здорова. Но нет. Наташа не тратила время на «почему». Она очень скучала по маме. Ей сначала казалось, что хорошие отметки в школе смогут что-то исправить. Она очень постаралась и получила целых восемь пятерок за одну неделю. Но мама через неделю не вернулась. И через две. И через три. Она лежала в больнице в городе, куда ее отвезли по скорой. Мама была очень больна. И Наташе пришлось научиться не плакать, потому что это еще больше могло огорчить папу и баб Маруню.

Сестренку назвали Ириной. Когда ее принесли из родильного дома и положили на подушку, Наташа долго стояла над ней и поверить не могла, что этот симпатичный пупс на самом деле дышит, что эта кукла – живая. Но интересно было только до ближайшей ночи, когда эта «кукла» не дала никому спать и кричала так, что даже на соседней улице узнали, что их в семье стало больше, что у них – малыш.

Наташа научилась подогревать молоко, добавлять и взбалтывать детскую смесь, капать себе на сгиб локтя, проверяя, не горячо ли. Наташа научилась пеленать сестренку, когда бабушка Маруня была занята.

Это было непростое лето, лето, в котором сквозили стрекозы грусти. Лето, в котором даже в самый солнечный день было темно. Но даже среди забот всегда найдется время для детских шалостей! Так, Наташа с подружкой Зинкой придумали катать друг друга в детской коляске. Сначала выходили гулять с Ириной, а когда та засыпала, ее перекладывали под ближайший куст, где она и лежала среди кур и голубей, пока старшая сестра не накается вдоволь в ее коляске. Продолжалась эта забава до тех пор, пока соседка тетя Саня не заметила и не наябедничала папе.

Вечером за ужином папа пошевелил усами, наморщил лоб и сказал:

– Наташа, ты как считаешь, ты уже взрослый человек?

Наташа ответила: – Да.

– А ты можешь представить, чтобы какой-нибудь взрослый, ну например я, катал другого взрослого, ну скажем, дядю Васю, в детской коляске? И...кхм, чтобы младенец в это время пылился в антисанитарных условиях и на него...кхм...какали куры...

Наташе стало немножко стыдно.

– Папочка, – сказала она и трянула кудрявой головой. – Я очень-очень тебя прошу не сердиться! Ничего же не случилось. А нам было так весело!

Но папа все-таки рассердился и стукнул кулаком по столу. Наташа, конечно, поняла, что дело вовсе не в коляске, и не в ее шалости, а в том, что папа тоже скучает по маме. Она не стала спорить с отцом и пообещала больше Ирину из коляски не выкладывать. Даже если очень захочется. Даже на минуточку.

Лето прошло, и наступила осень. Ирина училась сидеть, переворачиваться колбаской и однажды чуть не упала с кровати, Наташа еле успела ее поймать. Урожая в этом году не было, не до огорода им было, но папин друг дядя Вася привез им на мотоцикле два мешка картошки и денег не взял. Потом еще дал бурака и капусты. «Теперь перезимуем!» – сказал папа. К тому же у них остались соленья и варенья с прошлого года. Старенькая баб Маруня не справилась бы и с заготовками, и с двумя малыми внучками.

Наташа не знала, чем болела мама, об этом не говорили, но знала, что маму отвезли в Москву, а значит, ей стало хуже. Теперь все дни стали похожи на один длинный поезд, который гудит-стучит, но никак не кончается и никого никуда не везет. Отцвели астры, и небо заволокло дымом осенних костров. Догорало лето, еще таившееся в желтых кленовых листьях, уходило последнее тепло, улетали на юг птицы, насекомые готовились к зимовке, забираясь под кору деревьев и в щели их деревянного дома. Подрастала Ирина, ей показывали мамину фотографию и приговаривали «мама, мамочка». Ирина не понимала.

А однажды папа принес им всем крестики на веревочке. Молча отдал бабушке Маруне. Через два дня к ним домой пришла женщина в длинном черном платье, монашка, она читала молитвы, окунула Ирину в тазик с водой и отрезала ей волосики на макушке. Бабушка сказала, что теперь и Ирина крещеная, но чтобы Наташа никому об этом не рассказывала и свой крестик не носила, иначе папу исключат из партии. Наташа хранила свой крестик под подушкой. Теперь всегда, когда ложилась спать, она вытаскивала его за веревочку, сжимала в кулаке и шептала богу в самое ухо, как по рации.

«Если хочешь, добрый боженька, забери у меня ручку или ножку, забери меня всю, только пусть мама выздоровеет, пусть она будет жить».

Она шептала это, глядя в темноту, каждый вечер. Было страшно, но ей казалось, что в самой крошечной черноте возникал тонкий, как леска, золотой лучик, и он тянулся от ее крестика далеко в небо. И эта тоненькая ниточка держала их всех: и папу, и маму, и сестренку Ирину, и баб Маруню, и саму Наташу, – крепко держала над темной пропастью и не давала упасть. И им бы только переждать, только бы перебраться на другую сторону, оттолкнувшись веслом надежды, и снова быть всем вместе, и жить, и каждый день помнить, какое это счастье – быть с любимыми людьми. Быть и не расставаться.

Иероглиф

*Посвящается моему деду,
Тарасову П. М., врачу от бога*

1

Вечер матово-синий. Мрачно шумят тополя. В детском отделении нервно цокают каблочки по коридорам; голоса, удушенные истерикой, шепчут:

– Серёжа... Совсем синий!

– Хирурга зовите, кого-нибудь... дежурного...

– Пётр Максимыч!..

Вытесанное в скале мудрости лицо, выцветшие глаза, кажется, видят самую суть событий.

– Где? – и уже потом, вымеряя время шагами: – Что случилось?

Молоденькая сестричка семенит рядом, сбивчиво объясняя. Потёкшая тушь опускает перпендикуляры с глаз. Дверь в палату отскакивает, словно проваливаясь в пространство. Растворяются в нём все предметы и люди в белых халатах. Становится невидимым всё, кроме бледной кровати с крохотным комочком исчезающей жизни.

– Задышется... ларингоспазм...

Синее тельце неподвижно. Сёстры летают, как ангелы. Такие же нереальные и бессильные. Секунды раздробились в часы. А как иначе он успел бы понять, что нужно делать? Седой доктор хватает скальпель – нестерильный, некогда. Некогда даже осознать, что происходит.

Кожа раскрывает свой покров, подкожная жировая прослойка, мышцы, тайна создания человека пульсирует рядом. Ещё пульсирует, едва-едва... Синяя трубочка – трахея или сосуд? – не отличишь у двухлетнего ребёнка. Да или нет? Жизнь или смерть?.. нет времени думать, малыш не дышит. Скальпель уверенно сделал отверстие между хрящами. Влажно зашипел воздух, нежно порозовели щеки: значит, жизнь.

Только теперь есть время для обезболивания, время, чтобы вставить трубку в трахею, давая мальцу возможность свободно дышать, а далее – лечение, позволяющее снять отек гортани, и спустя время лишь маленький шрам на шее Серёжи будет напоминать о сделанной трахеотомии.

Выцветшие глаза постепенно начинают видеть вокруг. Со лба отводится взмокшая седая прядь. Вдох. Выдох. Замершие невидимые медсёстры снова обретают возможность ходить, говорить, восторженно плакать.

– Пётр Максимыч! Пётр Максимыч!

Но он ещё не обрёл возможность слышать, он молчит, находясь ещё там, со скальпелем в руках, обдумывая, всё ли сделал верно; поражаясь той великой силе, что руководила им.

А ведь сделай он одно неверное движение или окажись трахея сосудом, его осудили бы на многие годы, лишили бы права заниматься медицинской практикой и учли бы всё, вплоть до нестерильного скальпеля. Только вот особенностей строения каждого человека нельзя учесть, потому как часто оно не соответствует написанному в учебнике. И трахея вполне могла оказаться сосудом.

Безумие! Настоящее безумие он сделал! И сколько раз подобное совершает каждый врач, не помня себя, своей жизни, опасности ей угрожающей, спасает чужие, никакого отношения лично к нему не имеющие жизни. И что это – профессиональный долг или нечто большее руководит их душами, их руками, несущими спасение?

2

Вечер. Тёмная комната. Тихо шкварчит голубой экран. На диване спит человек с резко очерченным профилем. В его ногах дремлет рыжий кот. Им двоим снится отливающая серебром рыба: человеку – бьющаяся на крючке, коту – лежащая на полу и аппетитно пахнущая рекой. Человеку слышится, как сухо шуршит камыш и звонко волнуется вода под ударами чешуйчатого тельца. И совершенно неожиданно звучит звонок телефона.

– Петра Максимыча?.. Кто попал в ухо?.. Ясно. Приходите, я его разбужу, – кому-то говорит бабушка.

Дед – и хирург, и лорврач. Причём не только в рабочее время: круглосуточно, круглогодично. Всегда.

Петра Максимыча будят, включают свет, из стола достают отливающие серебром инструменты, которые оживают в его руках, как тонкие рыбы, блестящие в свете комнатного солнца. Больной усаживается на стул. Ему в ухо капают, ждут, снова капают борный спирт и, наконец, приступают к процедуре извлечения залезшей куда не следует сороконожки: одна лапка, другая... минута за минутой проходит час. Вот так седой доктор лечит уши, носы, достает кости, застрявшие в горле. Он что-то вроде службы спасения в районном центре. Его знают практически все, потому что абсолютно здоровых людей не бывает.

3

Седой доктор молча курит, сидя в своем кабинете. По стеклу скользят капли. Они ударяются о карниз, вызывая глухие жестяные звуки, а затем срываются вниз на больничные георгины и ноготки. Старое здание стонет, вечерние тополя шумят, хлопая мокрыми ладонями по крыше. Доктор уже задремал в своём кресле, все события дня носятся хороводом вокруг него, кубиками рассыпаются, то одно, то другое лезут в мысли. Вот бабулька с жалобами на дороговизну лекарств просит: «Да ты, милоч, выпиши мне по справке». «Рад бы, бабушка,

да не в моих силах тебе бесплатные лекарства выдать или цены на них снизить!» И исчезает лицо с лучиками морщин, погрозив железным бадиком. А на его место выплывают две молодые женщины, и одна другой говорит увлечённо: «Вот не долечили мать, так и болит у неё спина. А вот если бы денег дала – вылечили бы». «Конечно, бесплатно тебе даже простыню в больнице не поменяют, не то что вылечат!» – вторит другая. «Эх, милые, о каких деньгах говорите? На голом энтузиазме работаем в полном развале, простыню сменить – сестёр не хватает, не хочет никто бесплатно работать! А денег дашь – лучше не вылечат, потому что не деньги – цель работы врача, он и так изо всех сил старается, что от него зависит, делает. А если не помогает, так не его в том вина. Есть болезни, которым ни объяснения, ни названия нет. И доктор для них особый – надежда да вера. А в Бога или в черта – это каждый решает сам. Для себя...»

Звонок пронзил сон. Седой доктор автоматически взял трубку:

– Да... я... Суицид? Спускаюсь.

Окно смотрит пустым стеклянным глазом в комнату. За ним – чернота. В нём – отражается пожилой человек в белом халате. Он надевает очки, берёт инструменты. В пустом коридоре эхом повторяются его шаги.

...Двадцатилетний парень с неестественно запрокинутой головой, два пореза, перерезана гортань. Сосуды не повреждены. Страшный булькающий звук входящего воздуха, вытаращенные глаза...

– Пётр Максимыч! – тихо обращается к седому доктору молодой хирург. – В город звонили, они сказали, что везти не надо, вы и сами справитесь. Я ассистирую. Вы согласны?

Пётр Максимыч хмурится: как минимум шесть часов, чтобы собрать этого парнишку. Эх, малолетки, так не горло режут, так только калечатся! Он вздыхает. Давно пора бы на пенсию: силы не те, да и здоровье у самого шалит.

– В операционную! – говорит он сестре и начинает готовиться к операции.

4

Парнишка поправился удивительно быстро и также быстро исчез, не оставив своих координат, не являясь на приём к лечащему врачу. Осень уже подходила к концу. Листья с тополей давно облетели, и голые ветви топорщились на ветру, увешанные гирляндами грачиных гнёзд.

Пётр Максимыч вёл приём больных. Рабочий день завершался. И уже явственно слышалось плескание окуней и плотвичек, запах холодной реки и высохших камышей, – как внезапно дверь распахнулась, и на пороге, отталкивая сразу двух старушек, вырос он – двадцатилетний герой-камикадзе в стёганой куртке синего цвета и спортивных штанах:

– Здравсе... мне... того... больничный лист, – сказал он, комкая в руках шапку.

Седой доктор в ответ удивился:

– А где же ты, парень, два месяца пропадал? Больничный лист тебе продлить я не могу – не имею права, нужно было ходить на прием.

– Слышь ты, дед, я на тя в суд подам! Ты чё, совсем тугой? Ты чё, трудный что ли? Давай по-хорошему договоримся: ты мне больничный лист, а я тебе спокойную старость. Ты проникся?

– Молодой человек, выйди вон, – твёрдо говорит врач, сдерживая гнев. – И больше чтобы я тебя не видел! Понял? А то я не только пришивать-то могу, проникся, говоря по-твоему?.. Выйди.

– Слышь ты, дед. Тебя ватсе кто просил меня спасать, а?

Дед сидит и внимательно смотрит на молодого человека, на шее у которого три шрама: два свежих поперёк и один маленький – от сделанной в детстве трахеотомии, – словно китайский иероглиф, вырезанный на коже.